

Н а в а р р а

В простоте своего сердца они предпочли умереть, но не сдаться¹.

ФАЗА ПЕРВАЯ

Нет, Свобода не слово, о нет! Не фальшивые чеки
Министров, не бронзовый вексель тирана, не дутый кредит
Краснобая. Знаем, что смертна она, но цветет и горит
Мирный образ ее правоты в простом человеке,
Что скорее убьет иль умрет, а предательства он не простит.
Смертна Свобода, но вечно из пепла живая выходит,
Земная она, ино, как птица на юг, через весь белый свет,
В каждое сердце живое летит, как великий привет.
Как заря, ее чисты персты, но — она же выводит
Зависть с насилием из мрака. Свобода — не слово, о нет!

Смертью и творческой жизнью дышит сердце людское:
Так вот ваятель, он рад камень, увеча, разбить
И, стройную жизнь создав, обе радости соединить;
Так человеку дано, в смертном восторге живое
Тело свое уничтожив, сердечную силу открыть.
Пышино погибнуть не жаждал кроткий их разум,
Ибо привыкли сми к течению жизни простой, —
Те, о ком говорю, они не жили славной мечтой!
Руки Истории поднялись и с силой высекли разом
Образ Свободы из них с их стойкой, упрямой душой.

Год — девятьсот тридцать семь. Март месяц. А люди —
Тех иберийцев отважных готомки, что шли
Всюду по бурным морям. Мирно трудились они,
Верны законам земли, что свободной была и будет, —
Баскской земли, Кантабрийского моря сыны.
Простосердечные те рыбаки, кого не пугали
Бурноскалистой Бискайи угрюмые воды, густой
Туман берегов Ньюфаундлендских. Пелоты² живой
Мяч был им люб. И в деле рыбацком они не глошали,
Пока утром однажды не встретилось чудовище в сети сырой.

Республиканские тральщики шли. Гипускоа, Наварра, Бискайя
И Доностия, сопровождая по загражденным морям
Гальдамес, что вез никель и беженцев к Байонны далеким брегам
Из Бильбао, где гребень войны поднялся, гремя и взывая
(Там, за хребтом ледяным) — по дорогам и по городам.
Утром пятого марта норд-вест загудел над судами,
Одевая туманом волну. И могли ли тогда моряки
Знать, что ждет их в тумане, неведома карте, судьба на пути.
Крепки были суда и оружье, грозны люди угрюмые сами,
Люди Баскской страны, Кантабрийского моря сыны.

Медленно шли корабли вперед под холодным норд-вестом,
Море дрожало, как шкура огромного зверя, когда

¹ Эпизод, описываемый в этой поэме С. Дэй Льюиса, взят из книги Д. Л. Стира «Древо Герники». Поэма написана довольно необычным стихом, напоминающим более всего рифмованный гекзаметр. При чтении следует держаться главной цезуры, дабы не утерять ритм. — Ред.

² Пелота — игра в мяч, национальная игра басков.

Мерещится зверю убийство, обагренная кровью еда;
И они замечтались — безмятежно прекрасная фьеста,
Флаги шумят, и дети кричат, отбита родная страна
От бандитов кровавых. Будто смутным маяча виденьем
В запотевшем стекле, корабли появлялись средь туманных завес:
То сходились, а то расходились, пробираясь сквозь острый норд-вест.
Моряки были рады. И вдруг *Гальдамес* потерял направленье, —
Он, что вез драгоценных людей и металлы, — и в тумане исчез.

Но свой путь капитаны с серьгами в ушах продолжали отважно,
Безошибочно правили к суше, хоть не знали, где берег лежит,
И что их охранявший туман и ведет, и сбивает с пути.
Ибо вдруг в мановение ока он поднялся над пропастью влажной,
Словно веко у ящерицы. Засверкали злорадно лучи —
И одно за другим они вышли — *Гипускоа, Наварра, Бискайя*
И *Доностиа* маленькая. И увидели люди — увы, —
Что гора, заграждая им небо и море, встает из волны.
Грозно вздымался железный гигант, дымясь и сверкая, —
Канариас, крейсер мятежный, стоял поперец их пути.

Десять тысяч — водоизмещенье. Он идет, борец тяжеловесный,
Против тральщиков-легковесов. Под охраной пушек его,
Четырех- и восьмидюймовых, за ним шло покорно судно,
Что с оружием испанцам послал маклер смерти, торгаш неизвестный,
А сегодня мятежник настиг и повел к Пассахесу его.
Тишина, первый отзвук сраженья, у влага, сверкая, застыла
На башнях. И на копоти тральщиков. Яростный свет ослеплял.
И, в торжественном круге виясь, запоздалый туман выползal.
Но враги — корабль к кораблю, — изумленье им очи раскрыло,
И минута, немая, как смерть, над зыбию морской протекла.

Этой встречи им не избежать. Да они бежать не хотели,
Ведь Свобода — природная гордость у этих спокойных людей —
Горяча, словно кровь, как их солнце, дороже отцов, сыновей.
Гипускоа, Бискайя знали, что ждет их, — и двинулись к цели,
Чтобы кровь врага увидать, чтобы пушкам ударить сильней.
На борту у врага канониры наемные стали проворно
По местам, к своим сложным орудьям, гонимы железной муштрой.
Пунктуальны и точны, рассчитав по таблицам конец роковой.
Грохнул выстрел. Клубами над морем поднялся кипучий и черный
Дым над лицами тех, кому смерть осталась правдой одной.

ФАЗА ВТОРАЯ

Грохот первого выстрела рванулся над морем и, ахнув, ударили
В гранитные ребра на мыс Мачичако, прокатившись туда,
Где деревья обрызганы солью, где ветер сушил их и жалил,
И по скалам запрыгал кругом,
и услышали женщины гром.
Шли они кто на рынок, кто в церковь и узнали: грохочет беда.
Но не страхом был гром, а сигналом
Того, что последний живой листик счастья судьба оборвала
С древа Басков. Затем, что внезапно, виденьем мелькнув запоздалым,
Гальдамес показался из мглы,
а туман на запад поплыл,
И дымились навстречу жерла мятежного корабля.

И тотчас же пять бомб он швырнул, и тотчас же он женщин швырнул, —
Сотню женщин с детьми *Гальдамеса* в бойни панический ужас.
Им казалось, что палуба их уж дымится сквозь грохот и гул,
Гальдамес повернулся, а они там топтались, вертелись, метались.

Прочь от крейсера шел пароход. Спазма все туже и туже
Химией страха их жгла. А тому не прошло и минуты,
Как они, сбившись в кучу, что овцы в тумане, сидели, и так
Были уста их печально сомкнуты;
И тут, хуже фурий вопя,
 ринулась эта толпа,
С визгом моля капитана выбросить белый флаг.

Просигналив купцу: «На месте стоять!» — не спеша развернулся
Мятежник надменный и жадно пошел за добычей своей.
Но расчет его был небрежен — ему и во сне то не снилось,
Что вырвать добычу возможно из акульих его челюстей
Силами этих карликов-кораблей.
А *Наварра* и *Гипускоа*, пока еще было живое
Оружье и люди при нем, не замедлили в схватку вступить.
Дважды рывок смертельного боя
 сотрясал *Гипускоа*,
Море рычало все чаще
 гейзером пены кипящей,
Когда тяжкие крейсера бомбы бросались греметь и разить.

И маленькая *Доностиа*, стоявшая в отдаленый,
Затем, что Левиафанду как школьника детский нож —
Ее пушек бессильное рвенье,
Увидела жест отважный,
 маневр гениальный и страшный,
Неведомый морю — *Бискайя* своих покидает — и что ж? —
Как дикий берсерк понеслась, словно атом стали взбесенный,
Бандерилями затрапетали сигнальные флаги рей,
На торговца она пошла, что, как юный бычок, на просторной,
На клубящейся пеной арене стоял. И бортов ее тени
Укрылись за ним, — а крейсер только тут ее понял маневр.

«Кто? И куда ты идешь?» — флаги рей *Бискайи* спросили.
«Оружье везем, и силой в Пассахес заставляют ити» —
Был ответ. «В порт за мною иди». — «Не могу, угрожают». Взыграли
Снова флаги: «Немедля!» — и жерла
 орудий угрюмо и гордо
Обернулись к купцу, чьи высокие скрыли борты
Эту речь, раззвевавшуюся в порхании дерзких сигналов,
От Канариаса; но и там уже видят сквозь грохот и бой,
Что дальняя эта беседа шутку над ними сыграла,
Что лево на борт он кладет,
 и в Бермео торговец идет,
Прикрывая *Бискайю* собой.

(Для Басков купец — как лекарство больному: он вез миллионы
Боеприпасов. Надорванным тщетной надеждой сердцам
И страны кровоточащим стонам, —
Счастье, лучше и слаше всех,
 пред уклончивой помощью тех,
Кто отсрочкой томил их снова,
 чья Свобода — пустое слово.)
Мятежник сидел, как сова на воде,
А те тормозили его, и тщетно флаги бросались мигать,
Сигналя купцу; он думал, что тот неуклюж, не войдет
В Бермейскую гавань. В пути
 тому далеко не уйти,
А тральщиков он разнесет и купца заполучит обратно.

дат сменилось отчаянием. Наше положение было безнадежно.

Второй снаряд разорвался около машины агентства Домей Цусин, которая тут же вспыхнула. И тут произошла странная вещь. Может быть, в другое время это показалось бы смешным, но сейчас мы увидели в этом что-то зловещее. Повидимому, от взрыва вспыхнули электрические провода, приводившие в действие автомобильный гудок, и в то время как машина пылала, гудок вопил хрипло и жалобно, постепенно ослабевая, словно это было какое-то живое существо, которое горестно стонало в предсмертной агонии. Репортеры в отчаянии смотрели на свою машину. Там остался беспроволочный телеграф, много отнятой кинопленки и все фотографическое оборудование. Гудок стонал до тех пор, пока машина не превратилась в обуглившийся остов.

Прошел час. Стрельба из города не прекращалась. Вдруг мы увидели на небе аэроплан с гербом восходящего солнца на крыльях. Мы махали флагом, руками, стреляли из винтовок, но он спокойно проплыл мимо, повидимому, не обратив на нас внимания. Мы пережили минуту неописуемой горечи и отчаяния. Здесь, над нами, была помощь, единственное верное средство сообщения, звено, которое могло связать нас с нашей армией. И они не заметили нас.

В книге капрала Хино рассказано о том, что даже самая почва Китая как будто сопротивляется захватчикам:

«Мы снова выступили в поход и шли по мокрым рисовым полям, размытым дождями, развороченным тяжелыми башмаками прошедших перед нами войск. Каждый шаг стоил усилий. Мы скользили, падали, по щиколотку увязая в грязи. В конце концов, мы вознавидели дорогу, словно это было живое злобное существо. Скользкая, липкая грязь китайских дорог — это мощный союзник Китая».

Немудрено, что при таких условиях война начинает казаться японским войскам каким-то кошмаром.

«Начался дождь. Остаток дня прошел как страшный, путанный кошмар: мы шагали по грязи, брали по пояс в воде по мутным бурным потокам, мокрые насквозь, то и дело заряжая винтовки, непрерывно стреляя, непрерывно перебегая от куста к кусту, от прикрытия к прикрытию.

Я не знал, сколько мы прошли, куда мы идем. Я помню одно: мы шли вперед, а враг исчезал перед нами, невидимый, призрачный, как тень».

Изображая, чем живет японская армия, японский солдат, Ашихеи Хино рисует достаточно безотрадную картину. Тупая покорность, страх смерти, суеверия и «чисто животная радость», вызванная горячей едой или отдыхом, — вот чем живут в его изображении японские завоеватели.

Но зато капрал Хино невольно показывает, что в лагере противника есть политическая сознательность, целеустремленность, высокое единство. Осторожно, объективно, эмпирически излагая факты, Хино рисует картину, свидетельствующую о том, что вместе с китайской армией отступают и крестьяне, о том, что после отступления пустеют города, рассказывает и о плакатах и лозунгах, остающихся на стенах и выраждающих решимость китайского народа бороться до конца.

«Почти все опустевшие дома уже были переполнены солдатами других частей. Мы вошли в отведенный для нас дом, поставили караул и в изнеможении растянулись на полу. Было темно, как в погребе, так как огня зажигать не разрешалось; но через несколько минут я засветил свой карманный фонарик и огляделся по сторонам. Первое, что я заметил, это лозунги, мелом написанные на стенах: «Долой японский имперализм», «Дадим армии хороших бойцов», «Носить оружие — великая честь», «Выгоним прочь японцев» и т. д.

Книга д-ра Сун Ят-сена «Три народных принципа» лежала в каждой парте. Мне попался также учебник «Социального благосостояния» и «История Великого Китая». Я нашел карту Манчжуго с надписью: «Карта национального позора». Территория Манчжуго была отмечена как часть Китая.

На этот раз мы находились в доме, который, повидимому, прежде принадлежал какому-нибудь судье или ученому. На столах в комнате лежали груды юридических книг. Над этажеркой была прибита надпись: «Национальный анти-японский штаб», тут же рядом висел портрет Сун Ят-сена.

У нас еще оставалось время до выступления. Я пошел прогуляться по городу вместе с фотографом Умемото. Жителей, повидимому, оставалось очень мало. Городские стены и ворота были

Какая великая воля

На воде им давала держаться? Ситом стало суденышко их —
Пушки врага изрубили, выбили болты, все в щепы разбив
И окутав судно в смерч визжащей и воющей стали.
А на юге уж ясно мелькала пена утесов родных:
Знакомые с детства черты жизни, попрежнему милой.
Но многое дороже узнать,
Что жить будет берег родной, а не под тиранней стенать.
Свобода не слово для них — она терпеливою силой,
Стальной пружиной умела в измученном сердце стучать.

И вот моряки с *Доности*, которая в отдалены
Стояла немая, увидели, как с *Наварры* спустили с трудом
Шлюпку. И та поползла, словно краб искалеченный, к ним,
Едва подвигаясь. Они были рады спасти от мучений
Друзей. Было видно — за каждым веслом
Лодки, что шла по борту, — раненый. Кровью сочились
Уключины. Следом за шлюпкой — кровавая по морю нить.
Вниз по веревочным лестницам бросившись к ним, торопились
Людей ослабевших поднять,
Точно детей. Но тут увидали, что ошиблись они.

В шлюпке встал человек —
Весь в крови, закопченный — и крикнул: «Вам наш командир приказал
Сдать бочонки с водой, перевязочный сдать материюл
И в Бермео ити. Ну, а мы — доиграем пелоту навек».
Тщетно их со слезами капитан спасти умолял, —
Баск игру доведет до конца.
Проклиная его болтовню, забрали бочонки, бинты,
Чтобы как-нибудь кровь и огонь у себя на судне обуздать.
И обратно к *Наварре* пошли,
и за ними вилась по пути
Кровь в пурпурном отливе закатного дня.

Два часа еще бились они. До тех пор, пока стало судно
Раскалленою грудой железного лома. Снова огнем
Зашумел приглушенный пожар. Пришлось повернуться кругом —
Носовое орудие разнесло —
И бить кормовым. Они бились в мученьи глухом,
Осязая живую смерть. Их любви не осилить ничем
И воде, заливавшей корабль. Когда человек в этот ад
Падал мертвым, он вспыхивал, словно пылающий дух его смерть
Обращала в виденье. Два часа бились они. И в семь
Послали врагу свой последний снаряд.

Из всех командиров остался один. Из механиков их
Остался один. Из пятидесяти двух храбрецов, что поплыли,
Осталось четырнадцать, от ран ослабевших и еле живых.
И легла ночная роса: безмолвием пепельных слез,
И уста *Наварры* остыли.
А на юге приютные бухты, и скалы, и зелень берегов
Знакомых — стемнели. И сумрак плыл, дрогая. Их братья,
Глядя оттуда, клялись, что сдаваться
Наварре пора. Но четырнадцать тех храбрецов
В лодке разбитой поплыли к земле, чтобы жить и сражаться.

Крейсер моторку спустил. И прыгнула та, как борзая,
Согнувшись, догнать
И отрезать. Но те, полупризраки, еле в силах грести и дышать,

Не уступили судьбе и, волю свою непрягая
Для последнего вызова, весла оставили и стали швырять
Ручные гранаты в моторку, что алчно вокруг них кружила.
Но руки, что прорубили им в Историю путь,
Наконец изменили: гранатам врага не пришлось досягнуть —
Он ринулся к ним и схватил.
А *Наварра* кормой погружалась в Кантабрийское море — тонуть.



В этом не было волшебства. В бой пошли они, зная и видя,
Что должны проиграть. И они проиграли. Бискайя шумит
Над костями упрямцев. И ветер, вздыхая, дрожит
У темничной стены,

Где друзья — как корабль под волнами — погребены,
Люди Баскской страны, Кантабрийского моря сыны.
Эти люди не ждали от жизни мифических великолегий,
Но так страстно любили простой ее мир, что решили скорей
В простодушье своем — умереть, но не сдаться... И правды верней:
Смертны эти слова и деяния, но воспрянут, как дивное семя,
Когда некогда станет Свобода творческим словом людей.

Нет, Свобода не слово, о нет! Не фальшивые чеки
Политиканов, что, прячась за мира грязный подол,
На разгром страну эту предали и покрыл их навеки
Неизгладимый позор;
и бесстрастный Истории взор
Видел черную их возню в яме их окровавленных дел.
А те, о ком говорю, — Свобода была их телом,
Смертным телом, от чьей руки накалялась орудий сталь.
Но величие битвы их подняло, и дух их бессмертным стал,
И он светит, как чистый свет
звезды, которой уж нет,
Хоть давно над *Наваррой* сомкнулся бискайский пенистый вал.

Перевод С. Боброва